



# Оглавление



1. ДОРОТИ СОМС .....	9
2. ПРИЗРАКИ .....	15
3. СЕКРЕТЫ .....	38
4. РАЗБОР .....	48
5. НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ .....	79
6. БЕГОТНЯ .....	87
7. ДЕНЬ ПРИЕМА .....	106
8. НАДЕЖДА .....	121
9. СТРАХ .....	142
10. ТОМЛЕНИЕ .....	176
11. ИСЦЕЛЕНИЕ .....	194
12. ВОЙНА И БЛОКАДА .....	209
13. СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ .....	233

*Оглавление*

14. ИЗБАВЛЕНИЕ .....	256
15. МАТЕРИ .....	291
16. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ .....	323
17. ВОССОЕДИНЕНИЯ И РАСЧЕТЫ .....	339
18. ЛЮБОВЬ .....	364
БЛАГОДАРНОСТИ .....	369
ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и ВЫБОРОЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ .....	371
ОБ АВТОРЕ .....	377
ИСТОЧНИКИ .....	378
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ .....	382

Для того  
чтобы принести великое добро,  
вы имеете право  
сотворить маленькое зло.

*Чарльз Диккенс.*  
*Приключения Оливера Твиста*



# Дороти Сомс



**Я** всегда знала, что у моей мамы есть некий секрет. Она тщательно охраняла его и держала под замком. Я представляла это так: есть тайная комната, скрытая в закоулках спутанного разума моей матери. Но ее секрет был слишком объемным, чтобы его можно было хранить без последствий так долго, и он постепенно просачивался наружу, как густая жижа, отравляя жизнь нашей семьи и погружая каждого ее члена во тьму.

Когда мне было девятнадцать лет, мать случайно дала мне ключ к разгадке своего прошлого, но понадобились годы, чтобы узнать больше. В конце концов я прошла по своеобразному следу из хлебных крошек, который вел через океан, и оказалась у ворот жуткой и гротескной истории. Лишь тогда я смогла познать боль целых поколений женщин, отвергнутых обществом, а также страдания тысяч невинных детей, лишенных свободы, хотя они не совершили никаких преступлений. И понемногу раскрыла семейные тайны, заставившие меня переоценить все, что я знала раньше.

Разумеется, я ничего этого не знала, когда утром раздался телефонный звонок. Я лишь понимала, что мой отец позвонил в неурочное время.

— Мне нужна помощь. Речь о твоей матери.

Его голос был громким и напряженным.

Мне было трудно сосредоточиться, пока он описывал события этого утра: моя мать вцепилась в руль своего автомобиля и гнала, вращаясь в лабиринте извилистых дорог среди холмов, а мой отец следовал за ней в таком же черном «Ягуаре», надеясь остановить ее. К счастью, он поравнялся с ней раньше, чем мать слетела с дороги.

— Она сказала, что ей нужно в больницу.

— В больницу? Она пострадала?

— Нет, — отец больше ничего не сказал, но он позвонил не ради объяснений. А я не смогла понять, куда в тот день так отчаянно пыталась доехать моя мать, пока не прошли годы после ее смерти.

— Сегодня мне нужно быть в суде.

Я хотела сказать, что *мне наплевать*, но слова застряли у меня в горле. В свои девятнадцать лет я усвоила страх предчувствия неизбежных событий.

— Опасно оставлять ее одну.

Передо мной замелькали образы. Зубчатые стеклянные осколки на восточном ковре, пиньята из папье-маше, качающаяся на дереве, сломанные куклы, разбросанные по гладкому деревянному полу. Я достала свои учебники из рюкзака и положила их на стол. Мои руки начало покалывать, пальцы онемели. Обычно у меня было больше времени, чтобы подготовиться.

Я старалась не думать о том, что меня ждет, пока ехала через Бэй-Бридж, глядя на проступающий вдали абрис города перед поворотом на юг, к Хиллсборо.

Мы покинули Сан-Франциско, когда мне было шесть лет. Мой отец жаждал избавления от сырого городского тумана, который подстегивал его клаустрофобию, а мать была более чем рада переселиться в округ с одним из самых престижных почтовых индексов в Калифорнии. На первый взгляд зажиточный район, где мы остановились, был волшебным местом для ребенка, и соседские дети бегали по широким тихим улицам. Мы ныряли в проемы живых изгородей, за которыми скрывались безупречные садики, используя разрывы в густой растительности как тайные ходы, позволявшие избегать разоблачения во время игры в прятки. На нашем углу стоял пустой особняк, куда мы залезали через незапертое окно и бегали по просторным залам с раскинутыми руками, как будто летали, или по очереди катались с этажа на этаж на кухонном лифте. Один за другим мы забирались в небольшой деревянный короб, который поднимали и опускали все остальные со скрипом веревок, проворачивавшихся на заржавевших шкивах.

Но по мере моего взросления район Хиллсборо утрачивал былой блеск, и вскоре я стала замечать лишь его недостатки, отраженные в глазах моей матери, с ее слепым преклонением перед богатством и общественным статусом. Я помнила, как она фамильярно упоминала имена знаменитостей, живших за



углом, бравируя британским акцентом, который она не утратила за десятилетия жизни в Соединенных Штатах; помню ее торжествующую улыбку, когда мы получали лучший столик в эксклюзивном ресторане.

Мой последующий отъезд в Беркли оказался идеальным противовесом от воспитания, которое я научилась презирать. Гул городской жизни обеспечивал комфорт, недоступный в нашем бывшем доме. Я купалась в многообразии городских улиц, кафе для битников и книжных магазинов, уличных торговцев и голых по пояс хиппи, самозабвенно игравших в хэки-сэк\* на Спраул-Плаза. Хотя я находилась всего лишь в сорока минутах езды от своего старого дома, здесь я жила собственной жизнью.

Когда я свернула на подъездную дорожку, моего отца уже не было. Я остановилась в нескольких футах за блестящим черным «Ягуаром» моей матери, стоявшим на своем обычном месте. Вроде бы ничего не изменилось: лужайка была недавно выкошена, розовые кусты разрастались беспрепятственно. Я поднялась по кирпичному крыльцу к парадной двери, поглядывая на ряд сводчатых окон дома моего детства в поиске любых намеков на то, что меня ожидало.

Входная дверь была не заперта. Я набрала побольше воздуха, отворила ее и заглянула в гостиную, где мебель с золоченой обивкой безупречно

---

\* Хэки-сэк, или «подбрасывание мешочка», — игра, в которой несколько участников становятся в круг и ногами отбивают тканевый мешочек, наполненный бобами. — *Прим. пер.*

сочеталась с огромным ковром ручной работы, а разнообразные произведения искусства, приобретенные матерью во время ее частых поездок в *Butterfield&Butterfield\**, были стратегически размещены на антикварных столиках и в стеклянных витринных ящиках. Эта комната предназначалась для благоговения или устрашения посетителей. Но я искала лишь признаки беспорядка: сбитую диванную подушку, опрокинутую статуэтку.

На первый взгляд роскошная обстановка никак не пострадала, поэтому я осторожно вошла в коридор, проводя кончиками пальцев по ярко-белым стенам. Каждую неделю молодая женщина, почти не говорящая по-английски, часами мыла полы, драила ваннные комнаты и кухню, обметала пыль во всех комнатах, уголках и закоулках, хотя ее труды редко приводили к полному удовлетворению моей матери. Когда уборщица заканчивала работу, я часто видела, как мать протирает стены тряпкой, смоченной в уксусе. Царапины и красные пятна на костяшках ее пальцев были характерными признаками того, что она ползала на четвереньках, заново оттирая пол в ванной комнате.

Я бесшумно приблизилась к двери ее комнаты и тихо постучала, втайне надеясь, что она спит.

— Жюстина, это ты? — окликнула она.

Я на цыпочках вошла внутрь, ощущая знакомое чувство вины, потому что на самом деле не хочу ви-

---

\* Американский аукционный дом, основанный Уильямом Баттерфилдом в 1865 году. Сейчас входит в структуру eBay. — *Прим. пер.*

## *Чужое имя*

деть свою мать или разговаривать с ней. В комнате стоял полумрак, но я могла различить женский силуэт сидевшей в постели. Ее ночная рубашка отражала свет, проникавший через щели в тяжелых белых занавесках.

Она держала в руках блокнот. Я сразу же узнала ее старомодный каллиграфический почерк с четкими изгибами и петельками. Было плохо видно при таком слабом свете, но я смогла различить глубокие вмятины на тонко разлинованной бумаге вместе с темными пятнами и мелкими разрывами, как будто там ломался карандашный грифель.

Она повернула блокнот ко мне, и луч утреннего солнца осветил страницу. На каждой строке виднелось имя, выписанное снова и снова с одной и той же непоколебимой точностью. Я никогда раньше не слышала это имя и не услышала бы снова, пока не прошло много лет.

*Дороти Сомс*

*Дороти Сомс*

*Дороти Сомс*

## Призраки



**Я** не любила свою мать, но плакала, когда она умерла.

Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я покинула Калифорнию и начала взрослую жизнь. Общение с матерью я выстроила холодное и на расстоянии вытянутой руки, но, когда выдавалось свободное время, я приезжала ее навестить. Ее борьба с болезнью Альцгеймера была долгой, хотя ближе к концу ухудшение состояния заметно ускорилося. За несколько месяцев болезнь превратила мою мать в живой труп, мало напоминавший ту женщину, которая вырастила меня. Исчезла горделивая фигура, излучавшая нервную энергию и редко пребывавшая в покое. Она пользовалась любым праздным моментом, порхая по дому и разбирая невидимый беспорядок. Даже когда мать сидела неподвижно, расправив плечи и едва касаясь спинки стула, она сплетала и расплетала пальцы или нервно пощипывала кожу на руках, пока не появлялись кровоточащие ранки. Теперь, когда мать утратила способность говорить или двигаться, то

приходя в сознание, то отключаясь, ее руки погрузились в тонкое больничное одеяло как свинцовые чушки, а скрюченные пальцы прятались под согнутыми запястьями.

Я мрачно сидела рядом с ней, наблюдая за ее смертью. Мой отец и сестра тоже находились в комнате, но мы почти не разговаривали. Тишина нарушалась только тихими хрипами, вырывавшимися из глубины материнского горла, когда она боролась за еще один глоток воздуха. Когда она испустила свой последний судорожный вздох, я выбежала из комнаты и рухнула на маленькую скамью в коридоре, безудержно рыдая, пытаюсь дышать и опустив голову между коленей. Рыдания вырывались откуда-то из самой глубины, одно за другим, как будто они обладали собственной жизнью.

В следующие дни я была ошеломлена силой моих чувств к женщине, причинившей мне столько боли. В итоге это перешло в состояние тягостной усталости, ощутимо нагруженной эмоциями, одолевшими мое тело. Мне было трудно выполнять даже самые рутинные задачи, и я искала спасение во сне каждый раз, когда могла себе это позволить. Когда я все-таки выходила из дома, то была подвержена слезливости в самые неожиданные моменты. Незнакомые люди подходили ко мне и предлагали помощь. Женщина, которая принимала мои вещи в химчистку, вышла из-за прилавка и обняла меня.

— Моя мать умерла, — сказала я, когда она обвинила меня руками.

Но она утешала обманщицу. Прижала бы она меня к груди с таким же чувством, если бы знала о моих истинных чувствах к матери?

Мы похоронили ее в городе Роджерсвилл, где родился мой отец, на маленьком кладбище поблизости от Грейт-Смоки-Маунтинс в Теннесси. Ее могила находилась рядом с давно усопшими членами его семьи — с людьми, которых она никогда не встречала, в городе, где она никогда не жила. Мой отец уже давно выбрал нам участки на кладбище, и моя мать не возражала, так как не имела собственных родственников.

Через год он умер и был погребен недалеко от того места, где были похоронены его родители.

Я никогда не разговаривала с матерью о Дороти Сомс или о том дне, когда она стремительно неслась по извилистым улицам в своем блестящем черном автомобиле. Даже когда я была вынуждена наблюдать, как болезнь Альцгеймера опустошает ее мозг, заставляя забывать по несколько слов, важным было другое.

Я не хотела узнавать ее секреты. Вероятно, подозревала, что ее история окажется слишком болезненной для меня. Скорее всего, я опасалась, что знание правды даст мне такую власть над ней, которую я не смогу вынести.

Она пыталась рассказать мне, но лишь спустя годы после моего отъезда из дома. После окончания учебы в Беркли я постаралась уехать как можно дальше отсюда. Ни с того ни с сего я отправилась в путешествие по Азии и целый год жила на

деньги, получаемые за обучение английскому языку местных школьников. Потом пожила в Вашингтоне, в Северной Каролине, Теннесси и Джорджии, каждый раз следя за тем, чтобы нас с матерью разделяли тысячи миль.

Я жила в Нэшвилле, когда получила письмо. Оно было коротким. С минимумом деталей. Мать хотела, чтобы я позвонила ей. На первый взгляд, это было легко: набрать номер и спросить, что она хотела сказать своей загадочной фразой в конце письма.

Она хотела рассказать мне о своей жизни найденыша.

Это было старомодное слово, которое никогда не употреблялось в нашей семье. Оно выскочило у меня из головы вскоре после того, как я засунула письмо матери под стопку неразобранной почты. Мне уже давно не было дела до ее тайн или намерений, которыми она руководствовалась; я находилась в режиме самосохранения, отточенного до состояния научной дисциплины.

На той неделе она позвонила мне и спросила, получила ли я ее письмо. «Если хочешь, мы можем вместе отправиться в Лондон, — сказала она. — Я покажу тебе, где выросла и где это все случилось».

Вместо того чтобы подстегнуть мое любопытство, ее звонок возбудил мои подозрения. В семье существовало негласное понимание, что прошлое моей матери является запретной темой. Обращение к этой теме угрожало немедленной отповедью или — хуже того — отступлением, когда моя мать исчезала в своей спальне и возвращалась через несколько ча-

сов с припухшими и покрасневшими глазами. А теперь она предлагает мне посетить ее родину? Даже ланч в ее обществе был бы подвигом. Совместная поездка в Лондон выглядела такой же отдаленной возможностью, как путешествие на Луну.

«Я хочу тебе все рассказать», — добавила она, и ее голос был наполнен необычной бодростью. Ее готовность к разговору выглядела как минимум неожиданной, и меня одолел страх, что любые ее откровения каким-то образом будут использованы против меня.

«Слишком поздно», — ответила я.

Она не нуждалась в объяснениях, чтобы понять смысл моих слов, и ее разочарование было очевидным. Но я осталась непреклонной, укрепившись в мнении, что прошлое моей матери ничего не значит для меня.

И это была правда. Все изменилось через двадцать лет, когда я отправилась в Лондон вместе с человеком, который недавно стал моим мужем.

Поездка была чем-то вроде запоздалого медового месяца, тридцатидневный тур по Европе. Наш настоящий медовый месяц в Коста-Рике вышел скомканным из-за автомобильной аварии на извилистой горной дороге, за которой последовала тропическая болезнь, отправившая Патрика в больницу. Но все случается к лучшему. За месяцы до и после нашей свадьбы мы похоронили мать Патрика, его свояченицу и моих родителей.

Предполагалось, что наша поездка в Европу будет новым стартом, началом многообещающей жиз-



ни, не обремененной прошлым или нашим взаимным горем. Амбициозный маршрут был отражением наших надежд — с запланированными остановками в Лондоне, Париже, Брюгге, Амстердаме, Флоренции и Риме.

Я старалась убедить себя, что посещение Лондона ничем не будет отличаться от поездки в любой другой город. Мы осмотрим достопримечательности, попробуем местную еду и вернемся домой с полными желудками и в предвкушении весны, готовые к началу совместной жизни.

Мой муж не понимал, почему я так упорно избегала Англии. Он слышал истории о моих путешествиях: о том, как я ехала на велосипеде из Зальцбурга в Вену со всеми пожитками в рюкзаке за спиной, останавливалась на Дунае, чтобы поесть хлеба с сыром, пересекала Европу на скоростных поездах. Когда я достаточно увидалась европейских красот, то отправилась в Юго-Восточную Азию, не обратив внимания на правительственные предупреждения о действиях военных группировок в джунглях, а потом в Западную Африку, преодолевая военные блокпосты и обнаруживая деревни, не затронутые современной технологией.

Но при мысли о Лондоне мой живот завязывался в узлы.

«Все будет по-другому, — слышала я голос Патрика. — Теперь она умерла. Она больше не может причинить тебе вред».

Мы познакомились уже в зрелом возрасте и поженились, когда нам обоим было больше сорока

лет. Мы представляли собой странную пару — по крайней мере, на бумаге. Патрик был джазовым музыкантом, не связанным контрактными обязательствами, а я была публичным юридическим консультантом по защите окружающей среды, решительно настроенным на борьбу с загрязняющими планету веществами. Однако наше взаимное влечение было мгновенным.

Он был остроумным и симпатичным, с кудрявыми волосами, заразительной улыбкой и добрыми карими глазами. Я едва могла поверить в свою удачу. Мне казалось, что он мог выбрать из множества женщин. Почему он выбрал меня? Он осыпал меня комплиментами, называл блестящей, прекрасной и безупречной. Я упрекала его и обвиняла в подхалимстве, но он продолжал как ни в чем не бывало. Поэтому я научилась держать свои сомнения при себе и молча отвечала на его похвалы заранее подготовленным списком моих несовершенств.

Мы познакомились через сайт знакомств в интернете — один из тех, которые обещают найти вашего «духовного партнера» с помощью ответов на ряд вопросов. *Если бы ваши друзья могли описать вас четырьмя словами, что это были бы за слова? За что вы благодарны? Какая ваша любимая книга?* Я отвечала прилежно и откровенно в надежде, что мои ответы принесут мне долгожданную любовь. Вместо этого я проводила вечера, просматривая бесконечные профили мужчин, которые мне не нравились или наоборот. Один из первых моих знакомых с этого сайта выглядел многообещающе и сразу спросил о моих отноше-

ниях с членами семьи: это была его «красная линия». Если у вас нет хороших отношений с родственниками, как вы можете надеяться на хорошие взаимоотношения с партнером? Его аргументация наполнила меня тревогой. Мои трудные отношения с матерью отбрасывали тень на процесс поиска пары, который и без того был очень непростым.

Эта проблема продолжала внутренне угнетать меня и по мере того, как мои отношения с Патриком становились более серьезными. Последнее, чего мне хотелось, — это отпугнуть перспективного партнера, познакомив его с матерью. Поэтому я осторожно пробовала воду, постепенно раскрывая причуды вроде ее веры в призраков или ее инсайдерской убежденности в правительственном заговоре с целью отравить наши водные ресурсы. Я тщательно наблюдала за его реакцией, опасаясь вывода о душевном нездоровье членов нашей семьи, который заставит его удрать без оглядки.

Но ничто из этого не имело значения для Патрика, который и глазом не моргнул, пока я малопомалу раскрывала сложности отношений в моей семье.

Когда наш самолет приземлился в Лондоне, он потянулся и сжал мою руку в знак поддержки и понимания.

Мы остановились в Вестминстере, в бутик-отеле с видом на королевские конюшни Букингемского дворца. До краев наполненный старинным английским шармом, изобилующий уютными номерами с непременным пятичасовым чаем, отель мог по-

хвастаться внимательным привратником, носившим традиционную ливрею в комплекте с цилиндром. Меня восхищал его густой акцент кокни, звучавший так, словно он сошел со страниц романа Диккенса.

Моя мать не одобрила бы этого.

Я легко могла увидеть, как она кривит губы и едва заметно хмурится, выказывая свое неудовольствие, когда дворецкий объяснял нам, как проехать до вокзала Виктория. Меня с ранних лет учили, что социальный статус человека можно различить по особенностям его выговора, а мать особенно недолюбливала тех, кто разговаривал с акцентом кокни. Она называла их «отбросами общества». Так или иначе, она отличалась нетерпимостью к рабочему классу в любом виде.

Я слышала ее голос, когда мы бродили по узким лондонским улочкам или заходили в паб, чтобы укрыться от зимнего дождя. Рыба с картофельными чипсами, которую мы пробовали, пробуждала воспоминания о вкусах и запахах моего раннего детства. Наш буфет всегда был набит солодовым уксусом, которым мы щедро поливали треску в легкой панировке, которую мать регулярно подавала на ужин. Едкий запах уксуса часами оставался у меня на пальцах.

Подобно призраку, она появилась в универмаге «Хэрродс» в небольшом холле у подножия эскалатора, где мемориальная статуя принцессы Дианы и ее любовника Доди Файеда была воздвигнута через несколько лет после их гибели. Буквально на мгновение я увидела большие карие глаза моей ма-

тери и слезы, струившиеся по ее щекам, когда она услышала эту новость.

Вот так моя мать все же добилась своего, странствуя с нами по Лондону. Я постоянно слышала в голове ее знакомый голос, стихнувший лишь после того, как наш самолет прилетел обратно в США. В конце концов мы все-таки совершили совместную поездку.

Когда шасси самолета коснулись посадочной полосы, я рефлекторно потянулась за телефоном.

Мать всегда звонила мне после моих путешествий, якобы с целью убедиться, что я вернулась домой в целости и сохранности. Я ненавидела эти звонки, так как понимала, что они неизбежно приводят к перепалкам, жестоким словам, слезам и брошенным телефонным трубкам, после чего следовал неизбежный сопроводительный звонок от моего отца. *Почему ты не могла решить дело миром?* Как только технология подарила мне определитель номера, я сразу переправляла материнские звонки на голосовую почту и перезванивала лишь после того, как совесть преодолевала мои опасения.

На этот раз не могло быть никакого звонка от моей матери. Никто не станет проверять, вернулась ли я живой и невредимой. Мы со старшей сестрой держались отчужденно после смерти нашего отца, который умер через одиннадцать месяцев после смерти матери. За один-единственный год моя биологическая семья перестала существовать.

Я ожидала, что испытаю облегчение в отсутствие своей матери. Вместо этого, пока самолет

выруливал к причальному шлюзу, по моим щекам катились теплые слезы.

Всю жизнь я проклинала свою мать и уезжала за тысячи миль, чтобы избавиться от нее, — лишь для того, чтобы она призраком вернулась ко мне после смерти.

Когда я вернулась домой, то вместо сортировки фотографий или возвращения к осмысленной работе приступила к поискам Дороти Сомс.

Это началось постепенно, в виде кратковременных попыток интернет-серфинга. Я не знала, что ожидаю найти; я даже точно не знала, что ищу. Мои усилия сводились к бесцельному гуглингу нескольких слов в различных сочетаниях — к примеру, «Дороти Сомс» и «Англия», — где каждая попытка приводила к разочаровывающему результату. Я обнаружила упоминание о леди Мэри Спенсер-Черчилль Сомс, дочери Уинстона Черчилля, известной в светских кругах Лондона. Связь с Уинстоном Черчиллем была бы обнадеживающей, но даже если бы эта дочь породнилась с семейным кланом Сомсов, имевшим какое-то отношение к моей матери, трудно было представить состояние их связи с моей семьей. В ходе поисков я нашла еще много людей по имени Дороти или по фамилии Сомс, но никто из них не давал никаких намеков на прошлое моей матери.

Я могла бы остановиться на этом. В тот момент уровень моего интереса не превышал смутного любопытства. Но после возвращения из Лондона я ис-

пытывала растущее ощущение душевного неудобства. Письмо, которое мать прислала мне много лет назад, употребив то особенное слово, которым она назвала себя, продолжало звенеть в моем мозгу.

Я смотрела на курсор, мигавший на экране компьютера словно в ожидании инструкций. Аккуратно положила пальцы на клавиатуру и напечатала:

«Найденыш, Лондон».

И вот они — слова в верхней строке поиска, те слова, которые увели меня через Атлантику, чтобы дать ответы на вопросы, о которых я еще не знала: госпиталь для брошенных детей, Лондон\*.

*Думаю, она могла быть моей матерью.*

Я понятия не имела, может ли кто-либо в Кóрамском госпитале помочь мне, когда послала на общую электронную почту письмо с вопросом о любой девочке по имени Дороти Сомс.

«Госпиталь для содержания и обучения беззащитных и брошенных маленьких детей», или «го-

---

\* Госпиталь для брошенных детей в Лондоне, основанный капитаном Томасом Кóрамом в 1739 году, был предназначен для «ухода за маленькими детьми, оставшимися без попечительства, и их последующего воспитания». В то время слово «госпиталь» толковалось в широком смысле от англ. *hospitality*, то есть «гостеприимство», и в этом смысле госпиталь можно было называть «странноприимным домом». Госпиталь принимал на воспитание младенцев до шести месяцев от роду; исключения бывали только для сирот. Его воспитанников устраивали на работу с шестнадцати лет. — *Прим. пер.*

спиталь брошенных детей», как его обычно называли, был основан кораблестроителем Томасом Корамом и получил королевский патент в 1739 году. Его официальная миссия состояла в заботе о «беспомощных Младенцах, ежедневно подвергающихся угрозе Гибели»<sup>1</sup>. Это учреждение до сих пор существует спустя более двухсот пятидесяти лет, хотя теперь оно известно как Корамский госпиталь в честь своего основателя.

Я ждала ответа и регулярно проверяла свой почтовый ящик.

Через несколько дней ответ пришел. Да, кто-то изъявил желание заглянуть в архивы и проверить, есть ли там записи о Дороти Сомс. Но обещание помощи сопровождалось предостережением: не стоит ждать многого. Даже если удастся найти записи о ней, поиск едва ли выявит много подробностей. Лучшее, на что я могла надеяться, — подтверждение личности и времени пребывания ребенка в госпитале для подкидышей. Более подробная информация появлялась лишь в исключительных случаях.

В то время мы с Патриком жили во Флориде. Он взялся работать с командой, создававшей высокотехнологичные видеоигры, так что мы собрали вещи и отправились на юг из Атланты. Я покинула свой пост директора некоммерческой юридической фирмы по защите окружающей среды, что было простым решением для меня. Преследование загрязнителей окружающей среды некогда было работой моей мечты, из-за которой я поступила в юридический колледж. Я составляла иски против беспринципных



целлюлозно-бумажных комбинатов, угольных фабрик и мусороуборочных компаний за распространение опасных токсинов, таких как ртуть, мышьяк и свинец, в воде и в воздухе. Каждое дело давалось тяжело, ставки всегда были высокими, и мои нескончаемые обязанности распространялись по полному спектру — от проведения брифингов до управления бюджетом и сбора денег на благородное дело. Мною двигало пьянящее ощущение реальной цели, но через тринадцать лет я выдохлась.

За две недели моя жизнь преобразилась. После бесконечных судебных слушаний, совещаний и телефонных звонков у меня появилось почти бесконечное количество свободного времени. Мы переехали в исторический округ Орландо с эклектичной смесью самодельных бунгало 1920-х годов и домов в средиземноморском стиле. Я завела нескольких клиентов, но большую часть времени проводила в блужданиях по кирпичным улочкам, затененным старинными дубами, поросшими испанским бородастым лишайником. Их мощные ветви веерами расходились над моей головой, пока влажный воздух давил на меня, как одеяло. Долгими часами я сидела на скамье у близлежащего озера, наблюдая за жизнью пары лебедей, учивших летать своих лебедят. Я бродила по старому кладбищу, где нашла орлиное гнездо в развилке одинокой сосны и пару гнездовых сов, рассевшихся на ветвях кипариса. Дни тянулись в медленном, пульсирующем ритме, когда мой разум освободился от призрака бесконечных совещаний и наступающих судебных дедлайнов.

Получив долгожданную передышку, я заказала одну из книг, на которую наткнулась во время своих кратких исследований о брошенных детях. Написанная бывшим директором госпиталя, она была популярным пособием, и вскоре я приобрела другую книгу, написанную ученым-историком. Ее страницы изобиловали фактами и статистическими данными, описывавшими ранний период существования госпиталя, и я сидела на заднем крыльце, неторопливо листая книгу, прислушиваясь к хору лягушек, обитавших среди папоротников и бромелиевых, и иногда наблюдая за ящерицами, сновавшими по жженой черепичной плитке.

В итоге пришли вести из Корама. Женщина по имени Вэл подтвердила то, что я уже подозревала: моя мать выросла в «госпитале брошенных детей» под именем Дороти Сомс. Она дала мне общую информацию: сроки и подтверждение. Если мне хотелось узнать больше, нужно было приехать в Лондон и лично просмотреть архивные документы.

Я месяцами колебалась, не принимая никакого решения, и содержание прочитанных книг уже начало тускнеть в моей памяти. Когда Патрик предложил Барселону в качестве места для нашего ежегодного краткосрочного отпуска, мне показалось, что остановка в Лондоне по пути на отдых будет мимолетным развлечением, возможностью заглянуть одним глазком в заплесневевшие семейные архивы.

— Мы могли бы сначала остановиться в Лондоне, — ответила я. Слова вырвались у меня непреднамеренно, без какого-либо расчета. — Оттуда есть пря-

мой рейс, — добавила я, изображая безразличие, как будто мое предложение было лишь делом логистики.

Оглядываясь назад, я не верю, что сознательно решила вернуться в Лондон для исследования прошлого моей матери. С какой стати? Пять лет, прошедшие после ее смерти, были спокойными и даже безмятежными.

Не имело никакого смысла беречь прошлое.

В юности летом я брала уроки верховой езды в конноспортивном комплексе, который обосновался под хребтом, тянувшимся от Санта-Круса до Сан-Франциско. После многочасовых утомительных инструкций я украдкой отбивалась от группы и скакала по лабиринту тропинок, пересекавших соседние холмы и взгорья. Солнце пропадало из виду, когда я следовала по наезженной верховой тропе через рощу гигантских секвой. Часами я бесцельно блуждала там без карты или плана маршрута, сворачивая то на одну тропу, то на другую, привлеченная изгибом мощного корня среди желобов и рытвин, промытых дождями, или солнечным лучом, проникшим сквозь лесной полог и осветившим цветущий куст. Все это требовало исследования. Воздух был прохладным и влажным, и в крапчатом свете таинственной рощи я отпускала поводья. Позволяя моей кобыле выбирать дорогу, поглаживала ее широкую шею, словно поощряя к самостоятельному выбору и довольствуясь тем, куда она меня приведет. Когда я поднимала лицо к небу, то видела лишь кроны старинных деревьев и без всякой сознательной цели и желания *пребывала* в покое.

Глубоко в лесу.

Так началось мое странствие — без сценария, серьезного плана или тщательно продуманного выбора. Но когда наш самолет снова приземлился в Лондоне, обратного пути уже не было.

После беспокойной ночи в номере отеля я оказалась в приемной Корама — в сердце Блумсбери, модного района центрального Лондона. Я беспокойно постукивала ногой и нервно поглядывала на Патрика, когда заметила женщину, уверенной походкой направляющуюся к нам с архивной папкой под мышкой. Ее седые волосы были густыми и волнистыми, а белые локоны каскадами ниспадали вокруг лица. Ее наряд был элегантным и профессиональным: непритязательная блузка на пуговицах и простая шерстяная юбка. Она представилась как «Вэл», и, хотя до сих пор мы только обменивались электронными письмами, я сразу почувствовала себя непринужденно в ее обществе. Она сочувственно улыбнулась, когда поздоровалась со мной, как будто знала, что мое расследование будет нелегким.

Она отвела меня в маленькую комнату и аккуратно положила папку на стол. Я вспомнила ее предостережение насчет завышенных ожиданий и больших надежд. Тем не менее мое сердце забилось быстрее, когда я увидела, что толщина папки составляет несколько дюймов. Я старалась не смотреть на нее, пока мы обменивались любезностями насчет моего перелета.

— Если хотите, мы можем снять копии для вас. А когда вы просмотрите документы, мы направим их в музей.

Когда Вэл вышла из комнаты, Патрик сжал руку у меня на плече. Я глубоко вздохнула и обратилась к папке, которая как будто пульсировала от предчувствия. Когда я начала аккуратно расправлять толстую стопку документов, пожелтевших от времени, мой взгляд остановился на связке писем, датированных 1930-ми годами. Некоторые были изящно написаны густыми черными чернилами, выцветшими от времени и трудными для расшифровки. Другие были более официальными, по две-три фразы без подписи, на месте которой стояло слово «секретарь». Между письмами было несколько фотографий и рукописных отчетов по несколько страниц каждый.

На некоторых письмах я различала подпись: *Лена Уэстон*. Имя мне ни о чем не говорило, в отличие от фамилии. Это была девичья фамилия матери, и мой живот скрутило при виде шести знакомых букв.

Я никогда не слышала, чтобы моя мать упоминала о Лене. С другой стороны, я редко слышала, чтобы моя мать упоминала о ком-то кроме ближайших соседей, школьных знакомых или служащих из конторы моего отца. Время от времени она упоминала о подруге, которая жила в Европе, но я мало что знала о ней, только имя «Пэт».

Документов было слишком много, и ощущение сосущей пустоты в животе подталкивало меня к тому, что лучше будет изучать их где-нибудь в одиночестве. Пометив стопку многообещающих документов для копирования, мы с Вэл пошли в му-

зей, расположенный неподалеку, по адресу Брансуик-сквер, 40. Кирпичное здание в георгианском стиле, некогда занимаемое административными корпусами госпиталя для брошенных детей, было превращено в своеобразное публичное учреждение, где любопытствующие могли ознакомиться с историей госпиталя и найденышей, которых там воспитывали.

Как я узнала в ходе моего первоначального исследования, найденыши не являлись сиротами. А госпиталь для брошенных детей не был ни госпиталем, ни сиротским приютом.

Сирота — это ребенок, чьи родители умерли, в то время как найденыш обычно имел живых родителей. Из-за нищеты, а чаще из-за незаконнорожденности эти родители отдавали своего ребенка на попечение госпиталя для брошенных детей. Это означало, что, несмотря на свое название и на медицинскую помощь, которую оказывали детям, «госпиталь» был больше похож на сиротский приют. Само слово «найденыйш» технически было неправильным термином в случае детей, которые оказывались в этом учреждении, поскольку так можно было назвать лишь оставленного или тайком подкинутого ребенка. На протяжении почти всей истории госпиталя туда принимали детей, лично принесенных родителями, которые проходили тщательную проверку.

В архиве, который я начала просматривать, находились и старинные справочные документы в виде пергаментов из эпохи до изобретения ша-

риковых ручек и пишущих машинок. Слова «гостиница для брошенных детей» были выведены наверху изящным каллиграфическим почерком, а ниже находился титул, оттиснутый с деревянного клише: «Правила приема детей». Пока я изучала документ, мой взгляд задерживался на нескольких любопытных словосочетаниях вроде «известная репутация», «в силу добронравия» или «честный образ жизни». Больше предстояло узнать потом.

В музее я рассматривала экспозиции о повседневной жизни найденышей, фотографии детей в одинаковой одежде, занимавших ряды скамей в часовне. Там была маленькая железная кровать с выставкой детской униформы; вещи висели на закругленных деревянных колышках. Саржевая ткань была грубой и плотной, безыскусного желтовато-коричневого цвета; она была выбрана как символ бедности, смирения и (как я узнала позже) позора.

Одежда выглядела странно знакомой.

Я выросла в богатой семье, но, если другие дети из моей школы носили одежду, купленную в фешенебельных магазинах, моя мать часто шила мне вещи своими руками. Помню, как я наблюдала за ее работой, когда она горбилась над швейной машинкой с плотно сжатыми губами, мастерски направляя ткань под быстро плясавшую швейную иглу. Одежда была безупречной, с плотными стежками и ровными подолами, но всегда серо-коричневого цвета и немного мешковатой. Я умоляла, чтобы она разрешила мне носить что-то еще. Тускло-коричневая и бесформенная одежда делала меня мишенью для

насмешек. Она отвечала, что я слишком толстая, чтобы носить что-то другое, и что дети не будут дразнить меня. И то и другое было ложью.

Помню, как я стояла в центре игровой площадки в одной из бурых юбок, аккуратно сшитых моей матерью. Подол находился ниже коленей, что в те времена было не модно. Наряд дополнялся рубашкой, болтавшейся на плечах, белыми хлопчатобумажными носками и неуклюжими коричневыми туфлями; одним словом, настоящее пугало.

Я сосредоточилась на квадратиках для игры в классики, нарисованных на асфальте передо мной. Я считала цифры, выведенные разноцветными мелками, стараясь отгородиться от злых насмешек одноклассников.

Когда мать приехала забрать меня из школы, она высказала иное мнение о происшествии на игровой площадке. Я не была страшилой в плохо сидевшей одежде, а детские дразнилки предназначались для отвода глаз.

— Это потому, что ты играешь на скрипке, — прошептала она мне на ухо, как будто делилась секретом. — Они просто завидуют.

Я повернула голову и посмотрела на мать, когда она произносила это, но выражение ее лица не говорило ни о чем, кроме твердой, даже ревностной убежденности. Я хорошо помню ее хрипловатый шепот и широко распахнутые глаза. Это был мелкий, незначительный момент, но, наверное, тогда я впервые осознала, что являюсь не единственным членом семьи, кто не в ладах с окружающей реальностью.



Легко проводя пальцами по униформе найденнойшей, я гадала, не потому ли мать шила мне такую одежду. Вероятно, для нее шершавые бурые мешки, в которых с таким же успехом можно было носить картошку, были типичной детской одеждой.

Я поднялась в зал заседаний, где «попечители» госпиталя вели свои дела. Это помещение, где члены администрации проводили бесконечные часы за обсуждением судебных своих подопечных, тоже имело знакомую атмосферу: официальная меблировка и роскошные персидские ковры напоминали мне обстановку, выбранную моей матерью для нашего дома.

Когда я бродила по картинной галерее, украшенной большими портретами и мраморным камином, у меня перехватило дыхание при виде двух высоких декоративных стульев. Установленные в центре просторной комнаты, с замысловатой резьбой на прямых спинках, они выглядели величественно, как деревянные троны. Мне сказали, что ими пользовались во время богослужений в часовне. Эти стулья были неотличимы от другой пары, выставленной напоказ в гостиной дома моего детства; сходство казалось более чем зловещим.

Проходя по музею, я преисполнилась уверенности, что это было *то самое* место, с которого все началось: темнота, поглотившая мою мать и задушившая любую возможность нежности или любви в нашей семье.

Все, с кем я встречалась, тепло относились ко мне — доцент, который показал мне музей, куратор,

с которым я познакомилась во второй половине дня. Должно быть, они знали, что мой интерес не был чисто научным. Возможно, покрасневшие глаза выдавали меня. Некоторые вроде бы точно знали, что привело меня в музей. Одна женщина подошла ко мне и объяснила, что она сама была воспитанницей госпиталя в начале 1950-х годов. Мы немного поболтали.

— Нам повезло, — сказала она. — Куда еще мы могли бы попасть?

Мне не стоило удивляться ее благодарности этому учреждению. Сегодня утром я прошла мимо таблички с девизом Корама: «Лучшие возможности для детей начиная с 1739 года». Когда я бродила по залам музея, меня окружали портреты герцогов, графов и других аристократов, восхваляемых за их роль в создании и управлении госпиталем для брошенных детей на протяжении столетий. Мужчины в элегантных нарядах, восседавшие среди богато разукрашенной мебели, как будто излучали гордость своими филантропическими достижениями.

Я долго простояла перед портретом Томаса Корама, изображенного в пожилом возрасте, с седыми волосами и румяным лицом, носившего сюртук из камвольной шерсти и окруженного свидетельствами его странствий и социального положения. Пока я смотрела на лицо человека, чьи целеустремленность и предусмотрительность создали место для детей вроде моей матери, я ощутила знакомую горечь, всколыхнувшуюся в моей груди.

## Секреты



**М**оя жизнь началась в двух милях от эпицентра сексуальной революции в 1966 году. Когда я делала первые шаги, десятки тысяч пехотинцев этого движения собрались в Сан-Франциско на фестиваль «Лето любви». Разогретый наркотическим топливом, округ Хейт-Эшбери стал ядром культурного переворота, где активисты, певцы, художники или полусознательные мечтатели бросили вызов глубоко укорененным нормам поведения. За два-три дня предрассудки, десятилетиями преследовавшие женщин, начали терять свою силу, а несколько лет спустя один из основополагающих принципов революции был воплощен в законе. Одинокая незамужняя женщина, которая оказывалась беременной, больше не была вынуждена тайком вынашивать ребенка лишь для того, чтобы потом оставить его у двери приходской церкви, или делать подпольный аборт с риском увечья или смерти.

Но в фешенебельном районе Форест-Хилл с плавными изгибами улиц на вершине одного из знаменитых холмов Сан-Франциско, где я провела

первые шесть лет моего детства, жизнь протекала как обычно. Юристы и банкиры покидали свои внушительные дома, часто с видом на океан, ради ежедневных визитов в финансовый центр города, пока матери брали своих детей кормить лебедей у Дворца изящных искусств, не затронутого сумятицей, закипавшей в нескольких кварталах отсюда.

Так или иначе, сексуальная революция наступила слишком поздно для моей матери. Ее участь была предрешена за столетия до этого росчерком королевского гусяного пера и случайным фактом ее рождения.

Никто не говорил, что моя мать была незаконным ребенком. Эта тема не поднималась за обеденным столом или в светской беседе. Однако на моей памяти факт ее незаконного рождения был составной частью истории моей семьи. Каким-то образом мы знали — возможно, потому что намеки незаметно проникали в нашу повседневную жизнь.

В отличие от других детей, в моем мире не существовало бабушек и дедушек, приносивших подарки или присылавших открытки на день рождения или на Рождество. Моя бабушка с отцовской стороны умерла при родах моего отца, а дед по отцу через несколько лет скончался от сердечного приступа. Я слышала истории о них и время от времени спрашивала моего отца о его папе, как может спрашивать ребенок. *Каким он был? Был ли он похож на тебя? Сколько лет ему было, когда он умер?* Но разговоры о родителях моей матери находились под запретом. *Как их звали? Где они жили? Они живы или умерли?*

Я не знала ответов даже на самые элементарные вопросы.

Время от времени до меня доходили обрывки слухов о происхождении моей матери. Она происходила из валлийской аристократии, но ее законное место в обществе было отнято у нее — или *похищено*, как она выражалась. Она заявляла, что в наших жилах течет чистая голубая кровь и *никто* не в силах этого отнять.

Я не понимала, что она имеет в виду, и воображала, что моя кровь как-то отличается от крови других детей. У меня не было причин сомневаться в ее словах — особенно тогда, принимая во внимание четкость ее формулировок и утонченную природу необычных устремлений. Она с одинаковым искусством создавала карандашные эскизы, картины маслом, играла на фортепиано с непринужденным изяществом. Ее рассказы об учебе в Лондонской музыкальной академии, старейшей английской консерватории, основанной 11-м графом Уэстморлендом в 1822 году, бередили мою фантазию, вместе с одержимостью ее валлийским наследием и долговременными усилиями по реконструкции обветшавшего замка в Уэльсе. Иногда она показывала мне впечатляющие фотографии многобашенного каменного сооружения посреди огромной топи, и с годами мать потратила тысячи долларов на организацию роскошных званых вечеров ради сбора средств для того, чтобы замок возродился в его былой красе и славе.

Когда мне было около одиннадцати лет, я нашла письмо, намекавшее на неизвестные подробности

жизни моей семьи. Как выяснилось, речь шла о составе крови, курсировавшей в моих жилах. Мои родители отлучились по делу, и у меня появилась возможность проникнуть в отцовский кабинет. Это был смелый ход с моей стороны, не характерный для моей дисциплинированной натуры. Я нервно выглянула в окно, чтобы убедиться, что все чисто, а потом открыла и закрыла несколько ящиков стола, прежде чем подойти к архивному шкафу моего отца. Этот впечатляющий предмет мебели был изготовлен из блестящего лакированного дуба, со старинными бронзовыми ручками на каждом из четырех ящиков. Он всегда казался мне загадочным, потому что отличался от серых промышленных шкафов, обрамлявших стены юридической фирмы моего отца в финансовом районе Сан-Франциско. Не зная, что мне нужно, я потянулась и открыла верхний ящик.

«Счета», «Дом», «Страховка». Содержание выглядело рутинным, но позади, в самом конце алфавита, одна из папок привлекла мое внимание. Она была озаглавлена просто «Уэстон».

Осторожно вытащив папку, я села на деревянный пол и пролиставала содержимое — несколько статей об Англии, которые выглядели не особенно важными, потом копия письма на именной бумаге моего отца. Письмо было адресовано кому-то в Англии и начиналось официальным обращением: «Уважаемый сэр...»

«Мы уверены...», «Свидетельства показывают...» Речь шла о недвижимости в каком-то месте под названием Шропшир, и я смогла понять, что отец пы-

тается доказать право собственности моей матери на эту землю. Ближе к концу письма мне попалась фраза, которая больше всего удивила: «Даже ее дочь похожа на Уэстон».

Мне всегда говорили, что я похожа на свою мать; меня это возмущало, а моя сестра только поддразнивала меня. Фраза «ты точь-в-точь как мама» была самым тяжким оскорблением в нашем доме. Мы со старшей сестрой никогда не были близки; нас разделяло четыре года, а потом расстояние, когда ее отправили в женский пансион в Аризоне. Мы больше никогда не жили в одном доме или даже в одном городе. К тому времени, когда она вернулась, я сама училась в пансионе. Но слова сестры врезались мне в память, и я втайне надеялась, что, несмотря на ее утверждения, я была совершенно не похожа на мать. Хотя физическое сходство было неопровержимым. У меня такие же гладкие темно-русые волосы и бледная кожа, усеянная веснушками. У нас обеих большие глаза и густые черные брови, но ее глаза были карими, а мои — голубовато-зелеными, как у отца. И теперь я выглядела «как Уэстон», что бы это ни означало. Несмотря на горечь подтверждения, моя тяга к индивидуальности слегка поблекла, когда я осознала свою возможную роль в доказательстве благородного происхождения моей матери.

Ее притязания не казались странными или необычными, и я никогда не ставила под сомнение ее предполагаемый аристократический статус. В конце концов, она сделала свое презрение к беднякам кристально ясным, хотя и приберегала самое

сильное отвращение для нуворишей\*, которых она называла «презреннейшими из этой своры». Ее одержимость социальным статусом была всепоглощающей и проникала во все аспекты нашей домашней жизни. В сущности, большая часть невзгод, постигнувших нашу семью — по крайней мере, в том, что касалось меня, — была связана с неустанными попытками моей матери превратить меня в девушку из британского высшего общества — вероятно, такую же, какой была воспитана она сама.

Наша утренняя процедура начиналась перед рассветом. Мать будила меня, аккуратно встряхивая в постели, а завтрак уже стоял на столе.

Мы не говорили друг с другом, пока автомобиль безмолвно двигался по пустым улицам. Прижавшись носом к окошку, я смотрела на луну, следовавшую за нами, появлявшуюся и исчезающую за деревьями, и на дома, где в окнах еще не зажегся свет.

Мне было шесть лет, когда мы стали ездить на ранние утренние занятия к доктору Хардеру, уважаемому профессору музыки, который обучался в Японии у знаменитого Синичи Сузуки. В то время лишь немногие преподаватели пользовались новаторским методом «материнского языка» доктора Сузуки, где использовались принципы усвоения языка, такие как слушание и повторение, для обучения детей игре на скрипке. Уроки профессора Хардера пользовались большим спросом, но моя мать соглаша-

---

\* Нуворйш — быстро разбогатевший человек из низкого сословия.



лась только на лучшее, даже если это означало, что мои занятия начинались в шесть утра.

После уроков мы объезжали несколько престижных школ, которые я посещала. Всегда пунктуальная, моя мать ждала меня в автомобиле у тротуара после окончания занятий. Она молча вручала мне термос с теплым гороховым супом, и мы отправлялись на следующее занятие: балет, чечетка, теннис, верховая езда. В выходные дни или по вечерам преподавателей провожали в гостиную, где мы работали за длинным дубовым столом в неярком свете винтажных золоченых торшеров и большого канделябра. Моя спина неудобно прижималась к резьбе на жесткой спинке деревянного стула, пока мы работали над моим французским произношением или сочинениями и составляли договоренности на будущее, чтобы ни один предмет не оставался без внимания.

Среди этой изменчивой группы педагогов была личная учительница каллиграфии, которая учила меня, как нужно держать ручку, какое давление нужно прилагать к бумаге и какими движениями нужно создавать безупречно выписанные буквы. Мои уроки проходили у нее дома, в кремовом особняке с красной черепичной крышей. Оказавшись в просторном фойе, я следовала за ее длинными седыми волосами и колышущимся серым сарафаном в уютную комнату в башенке с видом на лес за ее домом. Мы сидели бок о бок за антикварным столом, пока она мягко водила моей рукой, направляя инструмент для письма. Уроки были безболезненными,

но все равно причиняли мне беспокойство. Каллиграфия никогда не была моей сильной стороной, и мать очень критично относилась к моим недостаткам, вплоть до последнего росчерка пера.

Она была неутомимой в своем стремлении сделать из меня успешную и рафинированную молодую даму, включая обучение классическому британскому произношению. Когда школьные учителя поправляли меня и говорили «не *театральный*, а *театральный*», я настаивала, что говорю на «реальном» английском языке. «Но здесь Америка», — логично возражали они, поэтому я научилась одному выговору для моей матери, а другому — для учителей.

После ужина начинались уроки дикции.

— Повторяй за мной, — говорила она.

*В четверг четвертого числа*

*лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии,  
но корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.*

Это упражнение повторялось вечер за вечером. И если педагоги были терпеливы, то мать высмеивала меня.

— Не *легурировщик*, а *регулировщик*, — с напором говорила она. — Повтори еще раз, только *правильно*.

Но мне никогда не удавалось добиться ее одобрения: либо тон голоса, либо выговор был слишком американским, недостаточно рафинированным.

Уже с первого класса учителя стали отправлять меня домой с записками, где выражали беспокойство моими тревожными симптомами. Даже не-

значительная ошибка вызывала у меня приступы сомнения в себе; малейшая оплошность причиняла острую физическую боль, которая оставляла меня слабой и разочарованной на целые дни после инцидента. Эта схема вошла в привычку в последующие годы: даже легкая критика отправляла меня в порочный круг замкнутости и стыда. Начальники на работе укоряли меня за «чрезмерную чувствительность» в обратной связи. Друзья и коллеги советовали поменьше беспокоиться и не принимать все так близко к сердцу. Но их благонамеренные предложения почти не заглушали критические голоса у меня в голове. Иногда я удерживалась от самокритики, вонзая в ладонь ноготь большого пальца до тупой пульсирующей боли или считая трещины на тротуаре, пока шла по улице, — все, лишь бы отвлечься от тревожных мыслей. Эти усилия не всегда бывали успешными, и иногда мои страхи и тревоги просачивались наружу в виде резких слов, обращенных к коллегам, или неуместных выражений, когда я обнаруживала опечатку в набранном тексте. Несколько раз паника отправляла меня в палату «Скорой помощи», когда мои симптомы оказывались похожими на сердечный приступ. Я проводила недели на кушетке психотерапевта, работая над преодолением, казалось бы, непреодолимого убеждения в своей никчемности, недостойности любви и уважения. Но как бы упорно я ни старалась заглушить голоса в моей голове, я таскала с собой список личных изъянов, словно тысячефунтовую гирю.

## *Секреты*

Я рассматривала собственные тревоги как побочный продукт неустанной критики моей матери, ее неутомимого желания превратить меня в человека, которым я не хотела быть, скроенного по ее образу и подобию. Я возлагала все свои несчастья на ее плечи. Но мне предстояло узнать, что любые реальные ошибки, которые она совершала, бледнели по сравнению с несправедливостями, которые ей пришлось вытерпеть в прошлом.

## Разбор



**В**ыброс адреналина пробегал по моему крошечному телу каждый раз, когда я слышала звук дверной задвижки около шести вечера. Я оставляла все свои дела, бежала к парадной двери, бросалась в объятия своего отца и на одном дыхании предлагала понести его чемоданчик. Ухватившись обеими руками за поношенную кожаную ручку, я медленно проходила с ним по коридору, и он внимательно слушал мое описание главных событий прошедшего дня: что нового я узнала в школе или какой рисунок я нарисовала на уроке изобразительного искусства.

Старомодный юрист, подлинный джентльмен и государственный деятель, скроенный по образцу былых времен, мой отец был блестящим и уважаемым человеком. Он никогда не сказал ни о ком дурного слова и был честен до неприличия. Он возвращал десять центов, если ему давали сдачу с излишком по ошибке, или оставлял уведомление, даже если слегка поцарапал краску на соседнем автомобиле.

Он учил меня таким же строгим этическим нормам. Даже незначительная ошибка в суждении могла

стать наглядным уроком, напоминанием о важности честной жизни.

Большую часть времени по выходным я проводила в конноспортивном центре в соседнем Вудсайде — небольшом городке, известном культурой коневодства, с дорожками вместо тротуаров и конюшнями вместо паркоматов. Когда я была готова к возвращению, то звонила отцу с платного телефона в задней комнате конюшни. Подруга научила меня одной хитрости для экономии денег — позвонить за счет абонента, а когда оператор соединит звонок, то повесить трубку. Прерванный звонок будет сигналом о моей готовности. Мне казалось, что это разумный способ сэкономить четвертак.

— Мы не можем так поступать, — терпеливо объяснил мой отец, когда я поделилась этой идеей. — Нехорошо обманывать телефонную компанию.

Его увещевания всегда были мягкими, без тени гнева или осуждения.

Мое любимое время дня наступало незадолго до отхода ко сну, когда отец тихо стучал в дверь моей спальни, нежно целовал меня в лоб и устраивался на второй односпальной постели. Свернувшись на боку, я едва различала его силуэт в лунном свете, струившемся через тонкие белые занавески. Опираясь головой на сцепленные руки, я позволяла медленному и размеренному рокоту его голоса убаюкивать меня.

— Ты знаешь, что такое асбест?

Вместо того чтобы слушать сказки, я каждый вечер узнавала, что происходит, когда сотрудник получает травму на работе. Мой отец был управляющим

партнером одной из ведущих калифорнийских фирм по защите трудовых прав рабочих. Некоторые его истории были скучноватыми; например, подробности все более частых судебных разбирательств в связи с расширяющимся использованием асбеста — минерала, который считался превосходным огнеупорным материалом и обычно смешивался с цементом для строительства. Вероятно, этот «волшебный минерал» предотвратил тысячи безвременных смертей при пожарах, но потом было установлено, что вдыхание его крошечных волокон повреждает легкие рабочих и жильцов и вызывает тяжелые заболевания. Когда я узнала, что трубы нашего обогревательного котла имеют асбестовую изоляцию, то встревожилась, что все мы можем заболеть и даже умереть. Отец заверил меня, что трубы снабжены надежным внешним покрытием и опасности нет, но я все равно боялась каждый раз, когда спускалась в подвал. Некоторые из его судебных дел были похожи на сцены из телешоу — например, когда он нанял частного сыщика, чтобы застать сотрудника, который притворялся больным и требовал компенсации, за занятия аэробикой. Я представляла, как сыщик снует между кустами перед спортзалом и щелкает фотоаппаратом, снимая акробатические экзерсисы притворщика. В другой раз мой отец разоблачил ложные претензии члена мафии, и ему посоветовали нанять телохранителя. Он этого не сделал.

Некоторые вечерние истории происходили из времени до того, как мой отец переехал в Калифорнию и когда служил в законодательных органах

Теннесси. По его словам, там везде процветала коррупция. Это было похоже на Дикий Запад. Люди заходили в здание местного законодательного собрания с холщовыми сумками, набитыми наличностью для подкупа тех законодателей, которые продавали свои голоса. Вскоре после того, как мой отец устроился на службу, бывший судья Верховного суда Теннесси подошел к нему с обещанием щедрого вклада в избирательную кампанию, если он «найдет способ» поддержать предстоящий законопроект. Мой отец наотрез отказался, и это создало ему репутацию неподкупного человека.

Я мечтала стать адвокатом по защите трудовых прав рабочих, каждый день приезжать в офисное здание в финансовом округе Сан-Франциско и работать рядом с отцом в его фирме. Тогда я узнала от него новое слово «непотизм».

— Я не верю в родственное покровительство, — объяснил он, когда я спросила, сможет ли он принять меня. — Если ты будешь упорно трудиться и окажешься лучшим кандидатом на должность, то сможешь работать у меня.

Я была разочарована и даже удручена, но отец сказал, что его работа скучна и утомительна и если бы он смог выбрать снова, то записался бы в Корпус мира. Или, возможно, пошел бы параллельным путем, но все равно стал бы защитником общественных интересов.

— Сделай что-нибудь хорошее со своей жизнью, — убеждал он. — Пользуйся тем, что имеешь, чтобы помогать людям.



Двадцать лет спустя, когда я последовала по стопам карьеры мечты моего отца, я поняла, что он был прав. Сортировка правительственных архивов, инспекционных отчетов и токсикологических записей была бодрящим занятием. Я воспринимала каждое дело как охоту за сокровищами, когда искала информацию, которую могла использовать к добру или ко злу. Я проводила часы в блужданиях по бюрократическим лабиринтам, телефонных звонках, правительственных кабинетах и болтовне с архивными клерками для поиска доказательств преступлений против окружающей среды.

Поиски золота среди пыльных архивов и изучение толстых томов для сбора эмпирических доказательств стали второй натурой для меня — до такой степени, что применение этих навыков к документам, которые я привезла домой из своей второй поездки в Лондон, было сродни встрече со старым другом. Многие отчеты госпиталя для брошенных детей были составлены десятилетия или поколения назад и давно вышли из печати. Я с нетерпением ожидала звонка в дверь и обнаруживала на пороге пакеты в коричневой бумаге от продавцов из букинистических магазинов. Вскоре мой стол был заполнен книгами историков, академических исследователей и просвещенных управляющих, возглавлявших это учреждение столетия назад, — людей, чьи имена я не узнавала, вроде Джонаса Хэнуэя и Джона Браунлоу. Ни одна книга не была слишком скучной или непонятной для меня.

Вскоре я узнала, что госпиталь для брошенных детей был основан в середине XVIII века для удов-

летворения отчаянной и растущей нужды. В то время незамужняя мать с ограниченными средствами имела скудный выбор для обеспечения своего младенца. Члены семьи часто осуждали ее или даже выгоняли из дома. Существовавшие дома для бедных были грязными и опасными временными убежищами, полными бродяг и безумцев, стариков и больных. С другой стороны, госпиталь предлагал чистую и упорядоченную обстановку, поэтому женщины, отчаявшиеся найти кров для нежеланного младенца, в большом количестве стекались к его дверям. Администраторы не поспевали за быстро растущим спросом, и драки в очереди среди матерей, желавших доставить своих детей в безопасное место, стали обычным делом. За пределами линии этих схваток стояли модно одетые зрители, платившие взносы за то, чтобы наблюдать за процессом приема.

Для успокоения хаоса, когда толпы женщин собирались у входа, госпиталь ввел систему лотерейных розыгрышей в 1742 году. Согласно этой системе женщины вытаскивали разноцветные мячи из кожаного мешка. Если молодая мать вынимала белый шар, ее ребенка принимали с учетом результатов медицинского обследования. Красный шар означал, что ребенка помещали в список ожидания на тот случай, если ребенок, чья мать вытащила белый шар, не пройдет медицинский тест. Черный шар был однозначным отказом.

Лотерейная система просуществовала недолго. Раскритикованная за передачу решений о жизни

и смерти воле случая, она была заменена второй системой под названием «общий прием». Женщина могла отдать своего ребенка без лишних вопросов или просто оставить младенца в корзинке у ворот госпиталя и позвонить в колокольчик для вызова привратника перед тем, как исчезнуть в ночи. Эта тактика привела к катастрофическому результату. Только в первый день принесли 117 детей, и количество лишь возросло. Вскоре госпиталь оказался переполненным. За первые четыре года общего приема было принято около 15 000 детей; более 10 000 из них умерли.

После множества проб и ошибок в госпитале был создан ряд приемных процедур, отточенных для большей эффективности и мало оставлявших на волю случая. Принятые в 1800-х годах и применявшиеся почти до середины XX века «правила приема детей» включали меры предосторожности, гарантировавшие защиту от неумышленного приема законнорожденных детей. «Дети вдов и замужних женщин не могут быть приняты в госпиталь»<sup>2</sup>. Супружеские пары, слишком бедные для содержания детей, и женщины, овдовевшие или брошенные своими мужьями, должны были искать помощь в других местах. В отличие от незаконнорожденных, их дети имели шанс в жизни: шанс получить образование, завести ремесло и стать продуктивными членами общества.

Но даже женщины, отвечавшие главным критериям, определенным в этих правилах, не испытывали немедленного облегчения. Процесс приема был долгим. Он мог продолжаться недели и даже

месяцы — не из-за каких-то причин, связанных с ребенком, но из-за определения, достойна ли мать воспользоваться щедростью госпиталя.

Для моей бабушки Лены Уэстон этот процесс растянулся на восемь недель.

В 1931 году Лена была тридцатилетней женщиной — незамужней, беременной и одинокой.

Будучи молодой женщиной, жившей в межвоенный период после Первой мировой войны, одного из самых смертоносных конфликтов в истории человечества, она принадлежала к потерянному поколению женщин, приговоренных к одинокому существованию. Война отняла жизни сотен тысяч британских солдат, оставив позади безутешное множество тех, чей шанс выйти замуж так и не наступил. После того как их будущие мужья гибли на полях сражений, незамужние женщины часто оставались жить с родственниками. Если родственники были мужчинами (обычно братьями), женщины могли работать домохозяйками, пока их братья управляли фермами или работали вне дома. Полностью зависевшие от мужской поддержки, они редко развивали иные навыки, кроме ухода за домом. Те женщины, которые жили со своими родственниками, находились в несколько лучшем положении. Их отношения были более равными; работа по дому была общей обязанностью, и не было никаких возражений для поиска работы на стороне. Но, так или иначе, эти женщины редко могли надеяться на брачное предложение.

Родители Лены умерли, а ее сестра Лили иммигрировала в Соединенные Штаты, где жила в знаменитой «Уолдорф-Астории»<sup>\*</sup> и работала на джазового композитора Коула Портера. Вероятно, возможность пойти по ее стопам в какой-то момент была открытой, но к тому времени, когда Лене перевалило за тридцать, ей оставалось только присоединиться к своему брату на ферме в графстве Шропшир, малонаселенной земле рядом с границей Уэльса, с россыпью мелких ферм и отдельными замками. Пейзаж составляли огромные луга, покрытые темно-красными цветами, или пологие холмы, чьи дикие склоны поросли шиповником и рододендронами. Большинство местных жителей были фермерами или работниками близлежащего чугунного завода, хотя имелось удивительное количество землевладельцев с аристократическими семейными корнями. Там не было городов, достойных упоминания, лишь тихие села и деревушки. Ближайшим цивилизованным местом к ферме Уэстона был рыночный городок Веллингтон, где старомодные лавки, обрамлявшие узкую аллею, граничили с кирпичными домами рядовой застройки и старой каменной церковью.

---

<sup>\*</sup> «Уолдорф-Астория» — отель в Нью-Йорке, который на момент постройки был самым высоким зданием в мире. В нем впервые провели электричество во всех номерах, а женщинам позволяли проходить через главный вход без сопровождения мужчин. Отель предоставлял услуги регулярного обслуживания номеров, что было также новшеством в гостиничном бизнесе. — *Прим. ред.*

В постоянном ритме повседневных дел и воскресных проповедей, служивших единственной защитой от одиночества, шансы Лены на обретение близости, нежности и любви были близки к нулю. В отличие от одиноких мужчин, которые просто «засевали дикое поле», когда занимались внебрачным сексом, любая женщина, которая осмеливалась искать утешения в объятиях любовника, считалась развратницей и подлежала изгнанию из достойного общества. Были и практические соображения: ограниченная доступность контрацепции (по крайней мере для таких женщин, как Лена) и отсутствие законного способа сделать аборт. Первая клиника по контролю над рождаемостью в Англии была основана в 1921 году защитницей прав британских женщин Мэри Стоупс. Она была видной сторонницей евгеники, и ее отвратительные взгляды на расовую чистоту оставили неизгладимую отметину на ее наследии. Но отстаивание репродуктивных прав женщин считалось революционным новшеством, и она открыто выступала против церкви, осуждавшей контроль над деторождением. Впрочем, эти новшества никак не могли помочь Лене: контрацептивные услуги клиники были доступны только для замужних женщин.

Лена могла смириться со своей участью: с одинокой жизнью, бесконечными днями на ферме в сельской глубинке с единственным компаньоном в лице ее брата.

Но вышло по-другому.

В документах, которые я привезла домой из Лондона, описывалась хронологическая последователь-

ность событий, которые привели Лену к дверям лондонского госпиталя для брошенных детей. Там, где встречались пробелы, было достаточно легко восстановить подтекст, так как Лена поведала обстоятельства своей жизни незнакомым людям, определявшим судьбу ее ребенка. Это было в феврале 1931 года. После продажи яиц на рынке Лена завела привычку пить чай в кафе неподалеку от центра Веллингтона. Именно там она повстречала *его*. Возможно, Лена заметила, как он улыбается ей через комнату или прикасается к шляпе в знак уважительного приветствия. Имея лишь своего брата в качестве собеседника, Лена могла быть удивительно чувствительной к мужскому вниманию и обаянию. А может быть, это натяжка с моей стороны. Возможно, она хорошо знала, что делала. Возможно, это уже случалось раньше.

Так или иначе, тот февральский день изменил ход жизни Лены и повлиял на жизнь следующих поколений.

Роман был коротким, с быстрыми и пагубными последствиями. После ожесточенной ссоры брат Лены выгнал ее из дома и отправил в Лондон на поиски государственной поддержки. У одинокой и беременной Лены почти не было выбора. Женщина в ее положении могла подать прошение о поддержке ребенка, но ей бы пришлось устанавливать личность отца в ходе судебных слушаний. Процесс проходил бы в публичном суде, что делало ее жертвой позора и насмешек. Общество сурово относилось к женщинам вроде Лены, считая их «падшими» и заслуживавшими наказания. Даже борцы за права женщин придерживались